



10 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (часть 2)

Оглавление

Александр Куприн "КУСТ СИРЕНИ"	1
Ричард Матесон «Первая годовщина»	5
Ричард Матесон «Призраки прошлого»	10
Борис Екимов. «Ночь исцеления»	16
Рей Бредбери «Улыбка»	20
К.Паустовский «Телеграмма»	24
Василий Шукшин «Сапожки»	31
Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками»	41
Леонид Андреев «Кусака»	42
Максим Горький «Песня о Соколе»	46

Александр Куприн "КУСТ СИРЕНИ"

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое



поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него так же молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого трудного человека...

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...



Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться: не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем, — сказала она, наконец, решительно.

— Но куда же мы поедem? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

— Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий брильянт, — возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.



Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...

И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

— Я тоже, глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...



Ричард Матесон «Первая годовщина»

Утром в четверг, когда он выходил из дома, Аделина подошла к дверям:

– Ты все еще чувствуешь привкус? Норман укоризненно взглянул на нее.

– Ответь мне, – жена требовательно перехватила взгляд.

Он молча обнял ее, прижался к золотистым прядям щекой.

– Я спросила тебя, – сказала Аделина.

– Может быть, забудем об этом? – умоляюще проговорил он.

– Но ты уже сказал это, милый. В первую годовщину нашей свадьбы!

– Извини, – он уткнулся носом в ее плечо. – Иногда у меня вырываются глупости.

– Ты не ответил мне. Мои губы отдают кислым?

– Кислым? Что ты, конечно нет. – Он крепче обнял жену, вдохнул аромат ее пышных волос. – Ты прощаешь меня?

Она с улыбкой поцеловала его в кончик носа, и Нортон снова, в который раз, поблагодарил судьбу, подарившую ему такую замечательную жену. Второй год их супружества протекал, словно второй день медового месяца.

Приподняв ее подбородок, он поцеловал жену в губы.

– Проклятье, – вырвалось у него.

– Что случилось? Снова привкус?

– Нет. – Он смущенно опустил голову. – Теперь я совсем не чувствую твоего вкуса.

* * *

– Теперь вы совсем не чувствуете ее вкус, – повторил доктор Филлипс.

Норман виновато улыбнулся:

– Я понимаю, что это звучит немного странно, но это так.

– Я бы назвал ваш случай уникальным, – доктор Филлипс задумчиво поправил на носу очки.

– Но самое странное не в этом, – прибавил Норман, его улыбка стала натянутой.

– А в чем же?

– Я чувствую вкус всего остального. Доктор Филлипс внимательно посмотрел на него, поскреб переносицу, снова поправил очки.

– Запах ее тела вы чувствуете?

– Да.

– Вы уверены?

– Да. Но какое отношение это имеет... – Норман осекся. – Вы считаете, что чувство обоняния и вкус как-то связаны?

Филлипс кивнул:

– Если вы можете чувствовать ее запах, вы должны чувствовать и ее вкус.

– Возможно, – пробормотал Нортон, – но я не могу.

– Интересно, – доктор Филлипс недовольно хмыкнул. – Подозреваю, что у вас в некотором роде аллергия. Навряд ли что-нибудь серьезное. Надеюсь, скоро мы выясним причину вашего недомогания, – успокоил он встревоженного Нортон.

* * *

Когда он зашел на кухню, Аделина подняла голову от плиты, на которой разогревался обед.

– Что говорит доктор Филлипс?

– Что у меня аллергия на тебя.

– Он не мог сказать такого, – она нахмурилась.

– Однако сказал.



– Будь серьезнее, с такими вещами не шутят.

– Меня обещали протестировать, чтобы выяснить причину аллергии.

– Он считает, что это опасно? – спросила Аделина.

– Нет.

– Ох, слава богу, – ее лицо просветлело.

– Слава богу, как же, – пробормотал он. – Вкус твоего тела был одним из немногих удовольствий, доступных мне в этой жизни.

– Перестань, – она ласково убрала с его плеч руки и повернулась к кастрюлям на плите.

Норман обнял ее за талию и потерся носом о ее затылок.

– Если бы я снова мог чувствовать тебя, – проговорил он. – Мне нравится твой аромат.

Аделина протянула ладонь и погладила его по щеке.

– Я люблю тебя, – прошептала она. С испуганным вскриком Норман пошатнулся, отступая на шаг.

– Что случилось? – Аделина пристально смотрела на него.

Он потянул носом воздух.

– Что это? – встревоженно обвел глазами кухню. – Ты вынесла мусор?

Терпеливо, как ребенку, она ответила:

– Да, Норман.

– Здесь чем-то жутко воняет. Может быть... – Заметив выражение ее лица, он оборвал фразу на полуслове. Аделина поджала губы, и неожиданно он понял. – Дорогая, ты ведь не думаешь, что я хотел сказать...

– В самом деле? – ее голос дрожал.

– Аделина, прошу тебя...

– Сначала тебе показалось, что у меня кислый привкус, теперь...

Он остановил ее долгим поцелуем.

– Я люблю тебя, – прошептал он, – ты понимаешь? Я люблю тебя. Неужели ты думаешь, что мне хочется ранить тебя?

Она затрепетала в его объятиях.

– Ты уже ранишь, милый.

Норман крепче прижал ее, погладил волосы. Нежно поцеловал ее в губы, щеки, в глаза. И повторял снова и снова, как сильно любит ее, стараясь не обращать внимания на отвратительный запах.

* * *

Открыв глаза, он замер, прислушиваясь. Со всех сторон его обступала темнота. Почему он проснулся? Повернув голову, он протянул руку на другую половину кровати.

Аделина легко пошевелинулась во сне от его прикосновения.

Откинув одеяло, он переполз на ее половину, прижался к теплому телу.

Уткнувшись лицом в спину жены, снова попытался заснуть.

Неожиданно его глаза раскрылись. В страхе он приложил ноздри к ее коже и потянул воздух. Ледяные иглы пронзили мозг; боже мой, что происходит? Он снова втянул в себя воздух, на этот раз сильнее. Аделина пробормотала что-то во сне. Он замер. Обливаясь

холодным потом, осторожно отодвинулся, укрылся одеялом.

Если бы его обоняние и вкус атрофировались полностью, это можно было бы понять, объяснить. Но они не атрофировались. Лежа в постели, он чувствовал терпкий привкус кофе, выпитого накануне вечером; чувствовал слабый душок раздавленных в пепельнице на столе окурков. Запах шерстяного одеяла беспрепятственно проникал в



ноздри через накрахмаленный пододеяльник. Тогда почему? Она была самой большой ценностью в его жизни. Было мучением наблюдать, как она ускользает от его чувств.

* * *

До свадьбы это был их любимый ресторан. Им обоим нравилось, как здесь готовят; нравились спокойная атмосфера и маленький оркестр, под музыку которого можно было потанцевать. Норман долго раздумывал, прежде чем выбрал его в качестве места, где они могли бы обсудить накопившиеся проблемы. И горько пожалел об этом, потому что никакая атмосфера не могла облегчить напряжение, которое он ощущал последние дни.

– Что же это такое? – Он с убитым видом отодвинул от себя тарелку с нетронутым ужином. – Что-то действительно происходит с моей головой.

– Почему ты так думаешь, Норман?

– Если бы я знал, – он печально вздохнул. Аделина погладила его руку.

– Пожалуйста, не волнуйся.

– Тебе легко говорить. Это какой-то кошмар. Я теряю тебя по частям, Ади.

– Милый, пожалуйста, не надо, – умоляюще проговорила она. – Я не могу видеть тебя таким несчастным.

– Но я действительно несчастен, – сказал он. Поскреб пальцем скатерть. – Мне только что пришла мысль сходить к психоаналитику. – Он поднял глаза. – Я должен сходить, иначе мы никогда не узнаем причины...

Заметив страх в ее взгляде, он натянуто улыбнулся:

– А-а, к черту проблемы. Схожу к аналитику, и все придет в норму. Давай потанцуем.

Она с видимым усилием ответила на его улыбку.

– Ты просто восхитительна, моя леди, – прошептал он, когда они вышли на круглую площадку перед оркестром.

– Я так люблю тебя, – тоже шепотом отозвалась она.

Где-то в середине танца Норман почувствовал, как кожа жены меняется под его руками. Крепко обняв ее, он прижался щекой к ее шее, чтобы она не заметила, как побелело его лицо.

* * *

– И теперь совершенно исчезло? – закончил доктор Бернстром.

Выдохнув облачко дыма, Норман наклонился и с силой вдавил окурочку в пепельницу.

– Да, – раздраженно ответил он.

– Когда?

– Этим утром, – на лице Нормана натянулась кожа. – Ни вкуса, ни запаха, – он передернул плечами. – А теперь я ничего не чувствую, когда прикасаюсь к ней.

В его голосе появились умоляющие нотки.

– Что происходит, доктор? Что со мной?

– Думаю, ничего опасного.

Норман с подозрением посмотрел на него.

– Что же это тогда? Я чувствую все вокруг, но когда прикасаюсь к жене...

– Я понимаю. – Доктор Бернстром передвинул на пару дюймов пепельницу.

– Тогда что это?

– Вам не приходилось слышать о слепоте, вызванной нервным срывом?

– Приходилось.

– А о нервической глухоте?

– Да, но при чем тут...

– Почему бы нам не предположить, что нервный срыв может отключать не только эти чувства?



– Предположим. И что тогда? Доктор Бернстром улыбнулся:

– Полагаю, вы уже получили ответ на ваш вопрос.

* * *

Рано или поздно он должен был догадаться. Никакая любовь не могла остановить его. Разгадка пришла, когда Норман сидел в гостиной, тупо уставившись в разбегавшиеся на газетных страницах буквы.

Взглянем в лицо фактам. В прошлую среду он поцеловал ее и, нахмурившись, сказал: «У тебя кислый привкус, Ади». Она поджала губы, отстранилась от него. Тогда он воспринял ее реакцию как естественное проявление чувств: замечание оскорбило ее. Теперь же он пытался вспомнить до мельчайших подробностей ее последующее поведение.

Потому что в четверг утром он уже не мог чувствовать ее вкуса.

Норман виновато покосился в сторону кухни, где Аделина занималась уборкой.

Кроме ее приглушенных шагов, в доме не раздавалось ни звука.

«Взгляни в лицо фактам», – настаивал кто-то невидимый в его мозгу.

Откинувшись в кресле, он вновь принялся перебирать воспоминания. Следующей была суббота, когда появился зловонный сырой запах. Естественно, Аделину обидело бы его предположение о том, что она является его источником. Он промолчал, осмотрел кухню, спросил, вынесла ли она мусор. И она немедленно отнесла этот вопрос на свой счет.

Проснувшись ночью, он не почувствовал ее запаха.

Норман прикрыл глаза. Действительно, что-то не в порядке с его головой, если в ней рождаются подобные мысли. Он любит Аделину, она нужна ему. Почему ему так хочется верить, что именно она каким-то образом связана со случившимся?

Потом был ресторан, – неумолимо вплывали в мозг воспоминания, – где во время танца ее кожа вдруг стала холодной. Он чувствовал, как его пальцы погружаются в рыхлую массу. А сегодня утром...

Норман с раздражением отшвырнул газету. «Сейчас же перестань!» Сдерживая дрожь, он сжал голову руками. «Это во мне, это я сам, я! Не позволяй своим ощущениям уничтожить самое прекрасное существо в своей жизни!» Он не позволит...

Его тело словно окаменело, губы разжались, глаза широко раскрылись, пустые от ужаса. Медленно, вслушиваясь в движение каждого мускула, он повернул голову к кухне. Аделина продолжала уборку.

Однако теперь слышались не только ее шаги.

Едва созная, что происходит, Норман поднялся. Тихо прокрался по мягкому ковру и замер у дверей кухни с выражением отвращения на лице, прислушиваясь к шуму, производимому женой.

Все стихло. Собравшись с силами, Норман толкнул дверь. Аделина стояла возле раскрытого холодильника. При виде мужа на ее лице появилась улыбка.

– Я как раз собиралась принести тебе... – она замолкла и неуверенно посмотрела на него. – Норман?

В горле у него пересохло. Замерев в дверях, он стоял и смотрел на нее.

– Норман, что происходит?

Тело его сотрясала крупная дрожь.

Отставив блюдо с шоколадным пудингом, Аделина поспешила к нему. Не в состоянии скрыть своего отвращения, он с криком отшатнулся, лицо исказила гримаса ужаса.

– Норман, в чем дело?

– Н-не знаю, – жалобно простонал он.



Аделина снова шагнула к нему, и снова ее остановил вскрик Нормана. Ее лицо напряглось, потяжелело, словно от внезапной догадки.

– Что еще? – спросила она. – Я хочу знать. Норман бессильно помотал головой.

– Я хочу знать, Норман!

– Нет, – его голос прервался хриплым дыханием. Аделина поджала прыгающие от волнения губы:

– С меня довольно, ты слышишь, Норман?

Вжавшись в стену, он пропустил ее, повернув голову, наблюдал, как она поднимается по лестнице. Выражение ужаса не сходило с его лица, пока он прислушивался к шуму, который, шагая, издавала Аделина. Закрыв уши ладонями, он стоял, сотрясаемый непроизвольной дрожью.

«Это во мне, это я! – твердил он себе, пока слова не начали терять свое значение. – Это я, все это внутри меня!»

Наверху с треском захлопнулась дверь спальни. Норман опустил руки и, пошатываясь, двинулся к лестнице. Она должна знать, что он любит ее; он искренне хочет верить, что все это происходит только в его воображении. Она должна понять.

Открыв дверь в спальню, он ощупью пробрался в темноте и присел на кровать. Послышался шорох, и он почувствовал, что Аделина смотрит на него.

– Извини, – проговорил он, – наверное, я действительно... болен.

– Нет, – ее голос был безжизненным. Норман напряженно всмотрелся в темноту.

– Что?

– Этих проблем не возникает с другими людьми, с нашими знакомыми, с продавцами из супермаркета... – ответила Аделина. – Они мало видят меня. С тобой все по-другому. Мы слишком много времени проводим вместе. Мне тяжело прятаться от тебя час за часом, каждый день, целый год. Моей силы не хватает, чтобы контролировать твой мозг; я потеряла власть над тобой. Все, что мне остается, – одно за другим отключать твои чувства.

– Ты хочешь сказать...

– Да, твои чувства не обманывают тебя. Этот привкус, запах, осязание и то, что ты услышал сегодня, существуют на самом деле.

Он сидел неподвижно, глядя на темные очертания ее тела.

– Мне следовало сразу отключить все твои чувства, – сказала она. – Тогда все было бы легче. Теперь слишком поздно.

– О чем ты говоришь? – Норман с трудом различил звук собственного голоса.

– Это несправедливо! – Аделина заплакала. – Я была тебе хорошей женой. Почему я должна возвращаться обратно? Я не хочу обратно, слышишь! Почему мне нельзя найти кого-нибудь еще и попытаться снова?

Трясущимися пальцами Норман нащупал кнопку ночника возле изголовья. Привстал и вдавил ее.

– Не смей зажигать свет! – приказал голос. Тусклая лампа осветила спальню. Неприятный треск и похрустывание за спиной заставили Нормана резко обернуться. Крик застыл у него в горле: с кровати поднималась полуистлевшая, бесформенная масса. Лохмотья кожи, пыль сыпались из прогнившего остова.

– Хорошо же! – слова взрывались в его мозгу, создавая иллюзию звука. – Теперь ты видишь меня!

Все чувства разом вернулись, воздух был пропитан запахом разложения. Норман отпрянул; потеряв равновесие, упал. Мертвая, просевшая фигура поднялась с постели и шагнула к нему. Норман не помнил, как выбежал из спальни, миновал темную прихожую, преследуемый умоляющим голосом, без конца повторявшим:



— Пожалуйста! Я не хочу возвращаться обратно! Никто из нас не хочет возвращаться обратно! Позволь остаться, я хочу быть с тобой... милый!

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

Ричард Матесон «Призраки прошлого»

Изначально он намеревался провести эту ночь в городской гостинице «Тигр». Но потом его осенило, что, может быть, свободна его бывшая комната. Сейчас было лето, и студенты, наверное, уже разъехались. Во всяком случае, стоило попытаться. Он не мог представить себе ничего более приятного, чем провести ночь в своей прежней комнате, в своей прежней кровати.

Дом несколько не изменился. Он поднялся по цементным ступеням, улыбаясь при виде их по-прежнему осыпающихся краев. «Те же старые ступеньки, — подумал он, — в том же плачевном состоянии». И той же самой была дверь с провисшей москитной сеткой, и точно таким же звонок, на кнопку которого, чтобы он сработал, надо было нажимать под определенным углом. Улыбаясь, он покачал головой и подумал, а жива ли еще мисс Смит.

Дверь открыла не мисс Смит. Сердце у него упало, когда вместо шаркающей ногами старушки к двери стремительно подошла крупная женщина средних лет.

— Да? — Ее хриплый голос прозвучал неприветливо.

— А мисс Смит здесь еще живет? — спросил он с надеждой.

— Нет, мисс Ада умерла несколько лет назад.

Ему будто дали пощечину. Он на мгновение почувствовал себя оглушенным и только кивал женщине.

— Понятно, — сказал он. — Понятно. Я, видите ли, снимал здесь комнату, когда учился в колледже, и я подумал...

Мисс Смит умерла.

— Так вы учитесь? — спросила женщина.

Он не решил, считать ли это оскорблением или похвалой.

— Нет-нет, — ответил он. — Я здесь проездом по дороге в Чикаго. Колледж я закончил много лет назад. Мне просто хотелось узнать, живет ли кто-нибудь в моей старой комнате.

— Вы имеете в виду большую комнату? — спросила женщина, рассматривая его как под микроскопом.

— Да, именно ее.

— До осени в ней никого не будет, — сказала она.

— А можно мне... взглянуть на нее?

— Ну, я...

— Я подумал, может быть, я смогу остановиться в ней на ночь, — добавил он поспешно, — если, конечно...



— О, все в порядке. — Женщина потеплела. — Если вы хотите ее снять.

— Хотел бы, — подтвердил он. — Что-то вроде свидания с юностью, знаете ли.

Он пожалел, что произнес эти слова, и постарался вложить в свою улыбку побольше уверенности.

— И сколько вы заплатите? — спросила женщина, которую больше интересовали деньги, чем воспоминания.

— Ну, насколько я помню, — произнес он, — я платил за нее двадцать долларов в месяц. Предположим, я заплачу вам столько же.

— За одну ночь?

Он почувствовал себя глупо. Но теперь он не мог повернуть назад, хотя и понимал, что подобное предложение вызвано исключительно ностальгией. Ни одна комната не стоит двадцати долларов за ночь.

Он одернул себя. К чему отговорки? Встреча с молодостью стоила того. Двадцать долларов для него давно уже пустяк. А вот прошлое...

— С радостью заплачу, — сказал он. — Вполне справедливая цена.

Он неловкими пальцами достал банкноты из бумажника и протянул их женщине.

Когда они шли по тускло освещенному коридору, он заглянул в ванную. Знакомая картина заставила его улыбнуться. Было что-то чудесное в возвращении. Он не мог этого не ощущать — оно было.

— Да, мисс Ада умерла примерно пять лет назад, — сказала женщина.

Его улыбка померкла.

Когда открылась дверь, ему захотелось долго простоять на пороге, оглядывая комнату, прежде чем снова в нее войти. Однако женщина стояла рядом, и было бы глупо просить ее подождать, поэтому он только глубоко вздохнул и шагнул внутрь.

Путешествие во времени. Эти слова пронеслись у него в голове, когда он вошел. Потому что показалось, что он внезапно вернулся назад, первокурсник, который впервые заходит в свою комнату с чемоданом в руке, в самом начале нового приключения.

Он молча оглядывал комнату, и его вдруг охватил невыразимый испуг. Комната, казалось, вернула все. Абсолютно все. Мэри, Нормана, Спенсера, Дэвида, их занятия, концерты, вечеринки, танцы, футбольные матчи, пивные кутежи, полуночные разговоры и все остальное. Воспоминания напирала толпой, пока уже не начало чудиться, что они раздавят его.

— Здесь немного пыльно, но я все приберу, когда вы отправитесь обедать, — пообещала женщина. — Пойду принесу чистые простыни.

Он не услышал ее слов, не услышал ее шагов, удаляющихся по коридору. Он стоял посреди комнаты, весь во власти прошлого.

Он не понял, что именно заставило его содрогнуться, но внезапно обернулся.

Это был не звук и не то, что можно было бы увидеть. Но он это почувствовал, умом и телом, какая-то тень беспричинного страха.

Он, вскрикнув, подскочил на месте, когда дверь с грохотом захлопнулась.

— Это просто сквозняк, — сказала женщина, вернувшаяся с простынями.

Бродвей. Светофор переключился на красный, и он нажал на тормоз. Взгляд скользил по фасадам магазинов.

Вон аптека «Краун», нисколько не изменилась. Рядом с ней обувной магазин Флоры Дейм. Взгляд метнулся через улицу. Магазин Глендейла все такой же. И «Одежда Барта» тоже на прежнем месте.

В мозгу расслабилась какая-то пружина, и он вдруг понял, что больше всего боялся увидеть, как изменился городок. Потому что когда он повернул на Бродвей и увидел, что книжный магазин мистера Слоуна и «Колледж-гриль» исчезли, он ощутил себя едва ли не преданным. Городок, который он помнил, жил в его голове нетронутым, и от этих



мелких перемен ему было не по себе. Все равно что встретить старинного приятеля и обнаружить, что у него нет одной ноги.

Но многое осталось точно таким же, что вызывало на его губах торжественную улыбку.

Театр «Колледж», куда он с друзьями ходил на полуночные представления по субботам, после свидания или долгих часов учебы. Университетский кегельбан, там, наверху, были комнаты с бильярдом.

А внизу...

Поддавшись импульсу, он подогнал машину к тротуару и заглушил мотор. Он посидел минуту в машине, смотря на вход в «Золотой кампус». Затем быстро вышел из машины.

Над входом висел все тот же старый навес, некогда кричащие краски которого от времени и погоды сделались консервативно темными. Он двинулся вперед, на губах играла улыбка.

Затем, когда он стоял, глядя вниз, на крутую узкую лестницу, на него вдруг накатила непередаваемая тоска. Он взялся рукой за перила и, мгновение поколебавшись, начал медленно спускаться. В его воспоминаниях лестница не была такой узкой.

Почти в самом низу до него донеслось какое-то жужжание. Кто-то чистил место для танцев полотером с вертящимися щетками. Он сошел с последней ступени и увидел низкорослого негра, который возил по полу медленно ползущий агрегат. Он увидел и услышал, как металлический нос полотера стукнулся об одну из колонн, которые обозначали границы танцевальной площадки.

Он снова нахмурился. Помещение такое маленькое, такое угрюмое. Не может же быть, чтобы его память так ошибалась. Нет, спешно пояснил он самому себе. Нет, это потому что сейчас здесь пусто и горят не все лампы. Это потому что музыкальный автомат не мельтешит разноцветными огоньками и нет танцующих парочек.

Не сознавая того, он сунул руки в карманы брюк — подобную позу он позволял себе всего пару раз с тех пор, как восемнадцать лет назад закончил колледж. Он подошел ближе к танцевальной площадке, кивнул при виде низкого древнего помоста для оркестра, словно увидел старого знакомого.

Он стоял перед танцевальной площадкой и думал о Мэри.

Сколько раз они кружились по этому крошечному пятачку, двигаясь в ритме, который задавал сияющий музыкальный автомат? Они танцевали медленно, тела сливались, ее теплая рука лениво поглаживала его сзади по шее. Сколько раз? Что-то сжалось внутри. Он видел ее лицо будто наяву. Поспешно отвернувшись от танцевальной площадки, он взглянул на темные деревянные кабинеты.

На губах появилась улыбка. Неужели они все еще на месте? Он обогнул колонну и двинулся в заднюю часть помещения.

— Ищите кого-нибудь? — спросил пожилой негр.

— Нет-нет, — ответил он. — Просто хотел взглянуть на кое-что.

Он двинулся вдоль кабинетов, стараясь не обращать внимания на собственное смущение. «В каком же из них?» — спрашивал он себя. Он не мог вспомнить, все они выглядели одинаково. Он остановился, уперев руки в бока, и окинул взглядом все кабинеты, медленно покачивая головой. Негр закончил натирать пол, выдернул вилку из розетки и укатил древнюю машину прочь. В помещении наступила мертвенная тишина.

Он понял, что смотрит на третий кабинет. Тонкие буквы стали почти такими же темными, как само дерево, однако, без сомнения, были на прежнем месте. Он проскользнул в кабинет и рассмотрел ближе.

«Б. Дж.». Билл Джонсон. И под инициалами год. «1939».



Он подумал обо всех ночах, которые они со Спенсером, Дейвом и Нормом провели в этом кабинете, ловко препарируя вселенную свежезаточенными скальпелями выпускников колледжа.

— Нам казалось, что весь мир у нас в кармане, — пробормотал он. — До последнего кусочка.

Он неспешно снял шляпу и присел за стол. Все, чего ему сейчас хотелось, стаканчик прежнего пива: густого солодового напитка, который растекся бы по жилам и возвеселил сердце, как часто говаривал Спенсер.

Он, будто с кем-то соглашаясь, покивал и прошептал тост.

— За тебя, непревзойденное прошлое.

Произнеся это, он оторвал взгляд от стола и увидел молодого человека, который стоял в противоположном конце помещения, у темного подножия лестницы. Джонсон посмотрел на юношу, не в силах четко разглядеть его без очков.

Спустя миг молодой человек развернулся и ушел вверх по лестнице. Джонсон улыбнулся самому себе. «Вернусь сюда в шесть», — подумал он. Танцы начинаются не раньше шести.

При этом он снова подумал о тех вечерах, которые провел здесь внизу, в этом заплесневелом полумраке, за пивом, разговорами, танцами, прожигая юность с легкомысленностью миллионера.

Он молча сидел в полутьме, и воспоминания накатывали на него неумолимым приливом, омывали его сознание, вынуждая крепко сжимать рот, потому что он понимал, что все это ушло навсегда.

И посреди этого прилива к нему снова пришло воспоминание о ней. Мэри, думал он, что же случилось с Мэри?

Он снова вздрогнул, когда проходил под аркой, ведущей в кампус. Неприятное ощущение, будто прошлое и настоящее смешались, а он сам движется по канату, натянутому между ними, готовый упасть либо по одну сторону, либо по другую.

Это ощущение преследовало его по пятам и охлаждало восторг от возвращения назад.

Он взглянул на здание, подумал о занятиях, на какие ходил сюда, о людях, с которыми здесь встречался. И почти одновременно он увидел свою нынешнюю жизнь, тусклые, пустые обязанности коммивояжера. Месяцы и годы одинокого путешествия по стране. Завершающегося неизменным возвращением в дом, который ему не нравится, к жене, которую он не любит.

Он все время думал о Мэри. Какой он был дурак, что упустил ее. Считал, со свойственной молодым бездумной уверенностью, будто мир полон безграничных возможностей. Он думал, что это неправильно, так рано делать выбор, хвататься за настоящий момент. Ведь он был создан для того, чтобы пастись на самых сочных пастбищах. И он все искал и искал, пока все его пастбища со временем не высохли.

И снова это ощущение. Вернее, сочетание нескольких ощущений. Угнетение, которое сгибало и душило его, и непонятное и непрекращающееся чувство погони. Непобедимое желание оглянуться через плечо и увидеть, кто же за ним гонится. Он никак не мог от него отделаться, и это беспокоило и расстраивало.

Он подумал, не остановиться ли, не посидеть ли немного в кампусе. Под деревьями расположилось несколько студентов, они смеялись и болтали.

Но он не станет больше разговаривать со студентами. Как раз перед тем, как войти в кампус, он заглянул в кафе, выпить стакан холодного чая. Он присел рядом с каким-то студентом и попытался завести разговор.

Молодой человек держался с ним крайне заносчиво. Он, конечно, ничего не сказал, но это было в высшей степени оскорбительно.



И случилось кое-что еще. Когда он подходил к кассе, какой-то молодой человек проходил мимо. Джонсону показалось, что юноша ему знаком, и он даже вскинул руку, чтобы привлечь его внимание.

Потом он понял, что никак не может знать никого из нынешних студентов, и смущенно опустил руку. Он расплатился по чеку, ощущая крайнюю подавленность.

Ощущение подавленности все не покидало его, когда он поднимался по ступенькам корпуса гуманитарных наук.

На крыльце он развернулся и окинул взглядом весь кампус. Несмотря на все, он повеселел, увидев, что кампус остался точно таким же. Хотя бы он не переменялся — значит, в мире все-таки есть что-то вечное.

Улыбка коснулась его губ, он развернулся. А потом развернулся снова. Неужели кто-то его преследует? Сейчас это чувство было особенно сильным. Обеспокоенный взгляд метался по кампусу, не находя ничего необычного. Раздраженно передернув плечами, он вошел в здание.

Оно тоже осталось прежним. Приятно было снова пройти по темным плиткам пола, под расписным потолком, подняться по мраморным ступеням, войти в прохладные залы, где затухал любой звук.

Он не рассмотрел лица студента, который прошел мимо, хотя их плечи едва не соприкоснулись. Ему показалось, что этот студент смотрит на него. Однако он не был уверен, а когда обернулся через плечо, студент уже зашел за угол.

День медленно тянулся к концу. Он ходил от здания к зданию, входил в каждое с благоговением, смотрел на доски объявлений, заглядывал в аудитории и улыбался всему застенчивой улыбкой.

Однако энтузиазм, похоже, стал покидать его. Было обидно, что с ним никто не заговаривает. Он подумал, не зайти ли к куратору выпускного курса и не поболтать ли с ним, однако решил этого не делать. Он не хотел показаться излишне пафосным. Он просто бывший студент, который скромненько навещает места, где прошли его студенческие года. Вот и все. Незачем устраивать из этого спектакль.

Когда после ужина он возвращался обратно в свою комнату, он уже был совершенно уверен, что кто-то его преследует.

Но каждый раз, когда он настороженно хмурился и оборачивался, никого не было. Только машины гудели, проезжая по Бродвею, да из домов доносился юношеский смех.

На крыльце дома он остановился и оглядел улицу, неприятный холодок пробежал по спине. Наверное, сегодня днем слишком много потел, решил он. И вот теперь вечерний воздух его холодит. В конце концов, он ведь уже не так молод...

Он мотнул головой, пытаясь отогнать от себя эту фразу. Человек молод настолько, насколько себя чувствует, авторитетно заявил он самому себе и коротко кивнул, чтобы лучше донести этот факт до сознания.

Хозяйка оставила парадную дверь открытой. Войдя, он услышал, как она разговаривает по телефону в комнате мисс Смит. Джонсон снова кивнул самому себе. Сколько раз он разговаривал с Мэри по этому телефону? Какой, кстати, у него номер? Сорок четыре пятьдесят восемь. Вот какой. Он гордо улыбнулся тому, что еще помнит.

Сколько раз он сидел там, в старом черном кресле-качалке, ведя с ней беседы ни о чем? Его лицо осунулось. Где она теперь? Вышла ли замуж, нарожала детей? Или она...

Он напряженно замер, когда за спиной скрипнула половица. Он выждал секунду, ожидая услышать голос хозяйки. Затем стремительно развернулся.

В коридоре было пусто.

Переведя дух, он вошел в свою комнату и плотно закрыл дверь. Принялся на шаривать выключатель и наконец включил свет.



Снова улыбнулся. Так уже лучше. Он обошел всю старую комнату, пробежал пальцами по крышке бюро, по студенческой конторке, по кровати. Кинул на конторку пальто и шляпу, с усталым вздохом опустился на постель. Он улыбнулся, когда под ним застонали старые пружины. «Старые добрые пружины», — подумал он.

Он подтянул ноги и упал на подушку. Господи, хорошо так! Пальцы любовно поглаживали покрывало.

В доме было очень тихо. Джонсон перевернулся на живот и посмотрел в окно. За окном был старый переулок, большой древний дуб все еще возвышался над домом. Он покачал головой, чувствуя, как от воспоминаний сдавило грудь.

Потом он вздрогнул, когда дверь чуть приоткрылась. Быстро обернулся через плечо. «Это просто сквозняк», — вспомнил он слова женщины.

Он, без сомнения, переутомился, решил он, однако все это тревожит. Оно и неудивительно. День был полон эмоций. Целый день оживлять прошлое и сожалеть о настоящем — это выбьет из колеи кого угодно.

Его клонило в сон после плотной трапезы в кабачке «Золото на черном». Он заставил себя подняться и добрал до выключателя.

Комната погрузилась в темноту, и он осторожно двинулся обратно к постели. С довольным вздохом улегся.

Это по-прежнему была старая добрая кровать. Сколько ночей он провел на ней, пока у

него в голове клочкотали слова из прочитанных книг? Он протянул руку и распустил ремень, привычно убеждая себя, будто нисколько не сожалеет о том, насколько раздалось некогда худощавое тело. Он глубоко вздохнул, когда живот перестало стягивать. Потом перекатился на бок в теплом душном воздухе и закрыл глаза.

Он полежал несколько минут, прислушиваясь к шуму машин. Потом со стоном перекатился на спину. Вытянул ноги, расслабился. Затем сел на кровати, вытянул руку, расшнуровал ботинки и уронил их на пол. Снова упал на подушку и снова со вздохом перевернулся на бок.

Ощущение подползало неспешно.

Сначала ему показалось, что его беспокоит желудок. Потом он понял, что это вовсе не мышцы живота, это каждый мускул всего тела. Он чувствовал, как десятки струн протягиваются сквозь тело и дрожат, натянутые на его каркас.

Он открыл глаза и заморгал в темноте. Что, ради всего святого, происходит? Он усталился на конторку и увидел темные силуэты пальто и шляпы. Снова закрыл глаза. Нужно расслабиться. В Чикаго предстоит встреча с крупными клиентами.

«Холодно», — подумал он раздраженно и поерзал, чтобы вытащить из-под раздобревшего тела покрывало. По коже бегали мурашки. Он понял, что прислушивается, хотя стояла абсолютная тишина, если не считать его собственного сиплого дыхания. Он неловко повернулся, не понимая, с чего вдруг ему стало так зябко. Наверное, простуда.

Он перекатился на спину и открыл глаза.

За мгновение его тело окоченело, и все звуки намертво застряли в горле.

Склонившись прямо над ним, в воздухе висело белое лицо, дышавшее такой ненавистью, какой он не видел ни разу за всю свою жизнь.

Он лежал, глядя в оцепенелом, неприкрытом ужасе на это лицо.

— Убирайся, — произнесло лицо, и в скрипучем голосе звучала угроза. — Убирайся отсюда. Ты не можешь вернуться.

Прошло много времени после того, как лицо исчезло, а Джонсон так и лежал, едва в силах дышать, руки сжались в кулаки, глаза широко открыты и устремлены в пустоту.



Он пытался размышлять, однако стоило вспомнить лицо, и все мысли замерзли в голове.

Он не стал задерживаться. Когда к нему вернулись силы, он встал и сумел выбраться из дому, не привлекая внимания хозяйки. Быстро выехал из городка, весь побелевший, способный думать только о том, что видел.

Самого себя.

Это было лицо его тогдашнего, когда он учился в колледже. Его юная ипостась возненавидела нарушителя, грубо вторгшегося туда, где ему нельзя было оказываться снова. И молодой человек в «Золотом кампусе» тоже был его юношеское «я». И студент, прошедший мимо в кафе кампуса, был он сам. И студент в коридоре, и некто, чье постоянное присутствие он ощущал, бродя по кампусу, некто, ненавидевший его за то, что он вернулся и трогает прошлое, — все это был он сам.

Он больше ни разу не возвращался и никому не рассказывал о том, что произошло. И когда, в крайне редкие моменты, он заговаривал о своих студенческих годах, то всегда делал это, пожимая плечами и цинично усмехаясь, чтобы показать, как мало эти годы значат для него.

Борис Екимов. «Ночь исцеления»

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его — на столе, сумка брошена у порога — все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко — хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой...

Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях... Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются — и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Простите!!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.

Приезжала баба Дуня — и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.



Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами,— словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.

И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша появился по-светлому. Загромыхал на крылечке,

в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:

— Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!

— Это хорошо,— одобрила баба Дуня. — Ушицей поладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапного Гришатку.

— Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.

— С вениками правда плохо,— согласилась баба Дуня. — До трех рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:

— Я про рыбу.

— Про рыбу... У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы...

Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги — через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:

— Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совесть, сказала:

— Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

— Я, бабаня, ничего не слышу. Сплю мертвым сном.

— Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделывать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика:

— Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.

— Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны!

Может, кто поднял? — И смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:

— Карточки... Где карточки... В синем платочке... Люди добрые. Ребятишки... Петяня, Шурик, Таечка... Домой приду, они исть попросят... Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя... — Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: — Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! — Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.

— Бабаня! Бабаня! — позвал он. — Проснись...

Она проснулась, заворочалась:

— Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

— Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.

— На сердце, на сердце... — послушно согласилась баба Дуня.



– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

– лягу, лягу...

Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель.

Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, – это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думатья об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услышал бабушкино бормотание:

– Зима находит... Желудков запастись... Ребятишкам, детишкам... – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради... Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.

– Бабаня... – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.

– Плачу, дура старая. Во сне, во сне...

– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.

– Да это сейчас проснулась. А там...

– А чего тебеснилось?

– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы.

Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

– А зачем тебе желуди?

– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.

– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.

– Снится, – ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи... Ну, ложись иди ложись...

Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:

– Не даю тебе спать... До двух раз булгачила. Старость.

– Бабаня, в голову не бери, – успокаивал ее Гриша. – Выплюсь, какие мои годы...

Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.

Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжной послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковым ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в



тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.

Этой ночью Гриша не слышал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она беспокойно спала.

– Не будила тебя? Ну и слава Богу...

Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:

– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думать о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?

Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».

За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

– Потеряла... Нет... Нету карточек... – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки... Где... Карточки... – И слезы, слезы подкатывали.

Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.

– Хлебные... карточки... – в тяжелой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня... В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите, – настойчиво повторял он. – Все целые, берите...

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:

– Мои, мои... Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек...

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.

– Не надо плакать, – громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать, – говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому



что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще... Он не спал, но находился в странном забытии, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.

– Документ есть, есть документ... вот он... – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.

– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.

– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать документ.

– Хорошо, давайте. Так... Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.

– Правильный... – облегченно вздохнула баба Дуня.

– Все сходится. Проходите.

– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.

– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе... Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намек. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.

Рей Бредбери «Улыбка»

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по-двое, по-трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче.

Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках, руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

- Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? - сказал человек за его спиной.

- Это мое место, я тут очередь занял, - ответил мальчик.



- Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

- Оставь в покое парня, - вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

- Я же пошутил. - Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. - Просто подумал, чудно это-ребенок, такая рань а он не спит.

- Этот парень знает толк в искусстве, ясно? - сказал заступник, его фамилия была Григсби. - Тебя как звать-то, малец?

- Том.

- Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку-верно. Том?

- Точно!

Смех покотился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда. Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок" но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.

- Говорят, она _улыбается_, - сказал мальчик.

- Ага, улыбается, - ответил Григсби.

- Говорят, она сделана из краски и холста.

- Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, - я слышал - была на доске нарисована, в незапамятные времена.

- Говорят, ей четыреста лет.

- Если не больше. Коли. уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

- Две тысячи шестьдесят первый!

- Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

- Скоро мы ее увидим? - уныло протянул Том.

- Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

- Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

- А зачем мы все тут собрались? - спросил, подумав, Том. - Почему мы должны плевать?

Тригсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

- Э, Том, причин уйма. - Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. - Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города--труды



развалин, дороги от бомбежек-словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

- Да, сэр, конечно.

- То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть но такова человеческая природа.

- А если хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? - сказал Том.

- Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом!

Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами-ядовитые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утешки, кроме этих наших праздников. Том. Наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливицы могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

- Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло-стекло, слышишь? господи, звук-то какой был, прелесть! Тррахх! Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

- А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, - продолжал вспоминать Григсби, - было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов-и взорвали их вместе! Представляешь себе. Том? - - Том подумал.

- Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

- Сэр, это больше никогда не вернется?

- Что-цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!

- А я так готов ее терпеть, - сказал один из очереди. - Не все, конечно, но были и в ней свои хорошие стороны...

- Чего зря болтать-то! - крикнул Григсби. - Все равно впустую.

- Э, - упорствовал один из очереди, - не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

- Не будет того, сказал - Григсби.

- А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам-нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

- Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

- Почему же? Может, на этот раз все будет иначе. Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой; держа в руке листок бумаги, Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед - шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.



- Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай! - По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских-четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

- Это для того, - уже напоследок объяснил Григсби, - чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

- Ну, плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

- Том, давай! Живее!

- Но, - медленно произнес Том, - она же красивая!

- Ладно, я плюну за тебя!

Плевков Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

- Она красивая, - повторил он.

- Иди уж, пока полиция...

- Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома - стал как пень! - а теперь все повернулись к верховому.

- Как ее звать, сэр? - тихо спросил Том.

- Картину-то? Кажется, "Мона Лиза"... Точно: "Мона Лиза".

- Слушайте объявление, - сказал верховой. - Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек.

Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

- Эй, Том, ты что же! - крикнул Григсби. Не говоря ни слова, всхлипывая. Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит-спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

- Том? - раздался во мраке голос матери.

- Да.

- Где ты болтался? - рявкнул отец. - Погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.



- Ложись! - негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: "Улыбка, чудесная улыбка..."

Час спустя он все еще видел ее, даже после того как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним - Улыбка. Ласковая, добрая, она была Там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

К.Паустовский «Телеграмма»

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обительница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого



не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

– Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова



были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настинными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

– Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зимы эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, поддержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ было много, Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким



окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя.

– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор.

– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!»

– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да?

– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!... Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.



Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше.

– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспыхнула Настя.

– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Перший.

– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. – Ничего неприятного?

– Нет, – ответила Настя. – Это так... От одной знакомой...

– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина.



Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она.

– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама... Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

...Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна.



– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, и ей будет способнее ехать.

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страдание неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустышкой... Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрал колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишая вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решила и спросила одну из старух, бабу Матрену:

– Одинокая, должно быть, была эта старушка?



– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока аа окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто из увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

Василий Шукшин «Сапожки»

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело:

– Это сколько же такие пипеточки стоят?

– Какие пипеточки? – не поняла продавщица.

– Да вот... сапожки-то.

– Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей. Сергей чуть вслух не сказал "О, "!" – протянул:

– Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Станный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет... Раз в месяц и наденет-то – сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а –



посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: "На, носи".

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда – все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца "повторяли". Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибежаться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишки какие-нибудь – зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь – сорок пять лет уже, – все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки – возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты – чего-ничего, а надеть можно – износят. А тут – один раз в жизни... Сергей пошел в магазин.

– Ну-ка дай-ка их посмотреть, – попросил он.

– Чего?

– Сапожки.

– Чего их смотреть? Какой размер нужен?

– Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

– Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

– Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

– Ну и нечего их смотреть.

– А если я их купить хочу?

– Как же купить, когда даже размер не знаете?

– А вам-то что? Я хочу посмотреть.

– Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть.

– Ну, вот чего, милая, – обозлился Сергей, – я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

– А вы не хамите здесь, не хамите! Налют глаза-то и начинают...

– Чего начинают? Кто начинает? Вы то, поили меня что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестящей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

"Нога-то в нем спать будет", – подумал радостно

– Шестьдесят пять ровно? – спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

"О господи! – изумился Сергей. – Прямо ненавидит. За что?"

– Беру, – сказал он поспешно, чтоб продавщице поскорей бы уже отмякла, что ли, – не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. – Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:



– В кассу.

– Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. "Что она?! Сдурела, что ли, – так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку".

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. "Болезная, наверно", – пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

– Я прошу сапожки.

– На контроль, – негромко сказала она.

– Где это? – тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

– Где контроль-то? – Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. – А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, – женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

"О-о! – подивился он на себя. – Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит – вся изозлилась".

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке – что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда – спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку – безнадежно грустно.

– Ты знаешь, что у него персональная "Волга"?! – кричал Рашпиль (Витьку звали "Рашпиль"), – У их, когда они еще учатся, стипендия – сто пятьдесят рублей! Понял? Стипендия!

– У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные – у этих... апостолов. Не у апостолов, а у этих... как их?..

– Понял? У апостолов – персональные "Волги"! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!

– Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

– А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

– Он должен быть верующим!

Сергей не хотел ввязываться в спор, хотя мог бы поспорить: пятьсот рублей молодому попу – это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку – покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

– Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.



– Кому это?

– Жене.

Тут только все замолкли.

– Кому? – спросил Рашпиль.

– Клавке.

– Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

– Сколько же такие?

– Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

– Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

– Во! – воскликнул Рашпиль. – Серьга... дал! Зачем ей такие?

– Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: "Половина мотороллера. Половина мотороллера". И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей – это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось. "Половина мотороллера".

– Она тебе велела такие сапожки купить?

– При чем тут велела? Купил, и все.

– Куда она их наденет-то? – весело пытали Сергея. – Грязь по колено, а он – сапожки за шестьдесят пять рублей.

– Это ж зимние!

– А зимой в них куда?

– Потом, это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж ей – на нос только.

– Какой она носит-то?

– Пошли вы!.. – вконец обозлился Сергей. – Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

– Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

– Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

– Она тебе, наверно, резиновые велела купить? Резиновые... Сергей вовсю злился.

– Валийте лучше про попа – сколько он все же получает?

– Больше тебя.

– Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. – Сергей встал. – Больше делать, что ли, нечего?

– А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать...

– Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что...

– Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

– Жалко – у пчелки в попке. Жалко ему!

Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

– Она тебе на что деньги-то давала? – спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. – На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

– Ни на что. Хватит об этом.



Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе – отделился, пошел один. Домой. Клавдя и девочки вечерали.

– Чего это долго-то? – спросила Клавдя. – Я уж думала, с ночевкой там будете.

– Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

– Пап, ничего не купил? – спросила дочь, старшая, Груша.

– Чего? – По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет – дорого, лучше бы вместо этих сапожек... "Пойду и брошу их в колодец".

– Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это "купил" было сказано, что стало ясно – не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

– Вон, в чемодане. – Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки вытянула сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакивали из-за стола... Заахали, заохали.

– Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

– Тебе, кому.

– Тошно мнеченьки!.. – Клавдя села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

– Какой размер-то?

– Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

– И размер-то мой...

– Вот где не лезут-то. Голяшка.

– Да что же это за нога проклятая!

– погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.

– Да кого там! Видишь?..

– Да...

– Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

– Эх-х! – сокрушалась Клавдя. – Да что же это за нога! Сколько они?..

– Шестьдесят пять. – Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блеснули слезы... Нет, она слышала цену.

– Черт бы ее побрал, ноженьку! – сказала она. – Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, – как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

– Ну, Груша, повезло тебе. – Она протянула сапожок дочери. – На-ка, примерь.

Дочь растерялась.



– Ну! сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. – Десять хорошо кончишь – твои.
Клавдя засмеялась.

Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери – курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

– Ну, иди... – позвала она.

Он нарочно не откликнулся, – что дальше скажет

– Сергунь! – ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу.

Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: "Купил сапожки, она ласковая сделалась". Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том что...

Ничего. Хорошо.

Василий Шукшин

Сапожки

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело:

– Это сколько же такие пипеточки стоят?

– Какие пипеточки? – не поняла продавщица.

– Да вот... сапожки-то.

– Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей. Сергей чуть вслух не сказал "О, "!" – протянул:

– Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Станный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет... Раз в месяц и наденет-то – сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а – посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: "На, носи".

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда – все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца "повторяли". Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибежаться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая



заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишки какие-нибудь – зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь – сорок пять лет уже, – все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки – возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты – чего-ничего, а надеть можно – износят. А тут – один раз в жизни... Сергей пошел в магазин.

– Ну-ка дай-ка их посмотреть, – попросил он.

– Чего?

– Сапожки.

– Чего их смотреть? Какой размер нужен?

– Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

– Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

– Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

– Ну и нечего их смотреть.

– А если я их купить хочу?

– Как же купить, когда даже размер не знаете?

– А вам-то что? Я хочу посмотреть.

– Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть.

– Ну, вот чего, милая, – обозлился Сергей, – я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

– А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают...

– Чего начинают? Кто начинает? Вы то, поили меня что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестящей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

"Нога-то в нем спать будет", – подумал радостно

– Шестьдесят пять ровно? – спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

"О господи! – изумился Сергей. – Прямо ненавидит. За что?"

– Беру, – сказал он поспешно, чтоб продавщице поскорей бы уже отмякла, что ли, – не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. – Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

– В кассу.

– Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. "Что она?! Сдурела, что ли, – так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку".

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. "Болезная, наверно", – пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

– Я прошу сапожки.



– На контроль, – негромко сказала она.

– Где это? – тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

– Где контроль-то? – Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. – А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, – женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

"О-о! – подивился он на себя. – Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит – вся изозлилась".

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке – что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда – спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку – безнадежно грустно.

– Ты знаешь, что у него персональная "Волга"?! – кричал Рашпиль (Витьку звали "Рашпиль"), – У их, когда они еще учатся, стипендия – сто пятьдесят рублей! Понял? Стипендия!

– У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные – у этих... апостолов. Не у апостолов, а у этих... как их?..

– Понял? У апостолов – персональные "Волги"! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!

– Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

– А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

– Он должен быть верующим!

Сергей не хотел ввязываться в спор, хотя мог бы поспорить: пятьсот рублей молодому попу – это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку – покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

– Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

– Кому это?

– Жене.

Тут только все замолкли.

– Кому? – спросил Рашпиль.

– Клавке.

– Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам; все тоже мiali голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

– Сколько же такие?

– Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.



– Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

– Во! – воскликнул Рашпиль. – Серьга... дал! Зачем ей такие?

– Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: "Половина мотороллера. Половина мотороллера". И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей – это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось. "Половина мотороллера".

– Она тебе велела такие сапожки купить?

– При чем тут велела? Купил, и все.

– Куда она их наденет-то? – весело пытали Сергея. – Грязь по колено, а он – сапожки за шестьдесят пять рублей.

– Это ж зимние!

– А зимой в них куда?

– Потом, это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж ей – на нос только.

– Какой она носит-то?

– Пошли вы!.. – вконец обозлился Сергей. – Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

– Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

– Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

– Она тебе, наверно, резиновые велела купить? Резиновые... Сергей вовсю злился.

– Валяйте лучше про попа – сколько он все же получает?

– Больше тебя.

– Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. – Сергей встал. – Больше делать, что ли, нечего?

– А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать...

– Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что...

– Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

– Жалко – у пчелки в попке. Жалко ему!

Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

– Она тебе на что деньги-то давала? – спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. – На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

– Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе – отделился, пошел один. Домой. Клавдя и девочки вечеряли.

– Чего это долго-то? – спросила Клавдя. – Я уж думала, с ночевкой там будете.

– Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

– Пап, ничего не купил? – спросила дочь, старшая, Груша.

– Чего? – По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет – дорого, лучше бы вместо этих сапожек... "Пойду и брошу их в колодец".

– Купил.



Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это "купил" было сказано, что стало ясно – не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

– Вон, в чемодане. – Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки вытянула сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакивали из-за стола... Заахали, заохали.

– Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

– Тебе, кому.

– Тошно мнеченьки!.. – Клавдя села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

– Какой размер-то?

– Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

– И размер-то мой...

– Вот где не лезут-то. Голяшка.

– Да что же это за нога проклятая!

– погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.

– Да кого там! Видишь?..

– Да...

– Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

– Эх-х! – сокрушалась Клавдя. – Да что же это за нога! Сколько они?..

– Шестьдесят пять. – Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блеснули слезы... Нет, она слышала цену.

– Черт бы ее побрал, ноженьку! – сказала она. – Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, – как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

– Ну, Груша, повезло тебе. – Она протянула сапожок дочери. – На-ка, примерь.

Дочь растерялась.

– Ну! сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. – Десять хорошо кончишь – твои. Клавдя засмеялась.

Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери – курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

– Ну, иди... – позвала она.

Он нарочно не откликнулся, – что дальше скажет

– Сергунь! – ласково позвала Клава.



Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу.

Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: "Купил сапожки, она ласковая сделалась". Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том что...

Ничего. Хорошо.

Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками»

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году - канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать - вот какие они были большие, - и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка! Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Из всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем - ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала! Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец приберет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем заоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка. Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, - и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в пей стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилок и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую



девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. "Кто-то умер", - подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к богу". Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую. - Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка! И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко - туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, - они вознеслись к богу. Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щеках ее играл румянец, на губах - улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку. - Девочка хотела погреться, - говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

Леонид Андреев «Кусака»

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, -- ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

-- Жучка! -- позвал он ее именем, общим всем собакам. - Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

-- Да пойдь, дура! Ей-Богу, не трону!



Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

-- У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

-- Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

-- Ай, злая собака! -- убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: -- Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злющая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и



даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

-- А где же наша Кусака?

И это новое имя "Кусака" так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, -- словно это был не хлеб, а камень, -- и скоро все привыкли к Кусе, называли ее "своей" собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

-- Кусачка, пойдй ко мне! -- звала она к себе. -- Ну, хорошая, ну, милая, пойдй! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойдй же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

-- Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

-- Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! -- закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.



Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, -- и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

-- Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! -- кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: -Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

-- Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

-- Как же нам быть с Кусякой? -- в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

-- Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? -- сказала мать и добавила: - А Кусяку придется оставить. Бог с ней!

-- Жа-а-лко, -- протянула Леля.

-- Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

-- Жа-а-лко, -- повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

-- Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что -- дворняжка!

-- Жа-а-лко, -- повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

-- Ты здесь, моя бедная Кусачка, -- сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному -- в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. - Пойдем со мной!



И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

-- Дайте копеечку, -- гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

-- А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

-- Скучно, Кусака! -- тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и -- промокшая, грязная -- вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завывала. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла -- ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

Максим Горький «Песня о Соколе»

Море -- огромное, лениво вздыхающее у берега, -- уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным



небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены -- все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

-- А-ала-ах-а-акбар!.. -- тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, -- у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегут тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота -- это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

-- Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он -- вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

-- Рагим!.. Расскажи сказку... -- прошу я старика.

-- Зачем? -- спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

-- Так! Я люблю твои сказки.

-- Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю... -- Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

-- Хочешь, я расскажу тебе песню? -- соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

"Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...



А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

-- Что, умираешь?

-- Да, умираю! -- ответил Сокол, вздохнув глубоко. -- Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

-- Ну что же -- небо? -- пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: "Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет..."

Но Сокол смелый вдруг востепенел, привстал немного и по ущелью повел очами...

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

-- О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: "Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!.."

И предложил он свободной птице: "А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии".

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и -- вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...

II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

-- А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и -- сделал. В кольцо свернувшись, он прыгнул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.



Рожденный ползать -- летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

-- Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она -- в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я -- видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье -- землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

"Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых -- вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время -- и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!.."

... Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шум, ползет к голове Рагима.

-- Куда идешь?.. Пшла! -- машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...